

АЛЛЕН ГИНЗБЕРГ
ALLEN GINZBERG

КАДДИШ

KADDISH

Аллен Гинзберг

в переводе Виктора Сосноры

КАДИШ

Санкт-Петербург



АЛЛЕН ГИНЗБЕРГ
ALLEN GINZBERG

КАДДИШ
KADDISH

Аллен Гинзберг в переводах Виктора Сосноры

Аллен Гинзберг всемирно известный поэт.

Еще он музыкант, искусствовед, фотограф, исполнитель своих блюзов с тарелочками и пианолой, член Американской Академии Искусств, вице-президент Американского пэн-клуба, президент интернационального комитета поэтов. Еще он преподает в колледже, в Бруклине. Еще Гинзберг один из родоначальников мирового движения битников.

Как полагается, я приведу высказывания двух крупнейших американских поэтов и эстетиков:

Боб Дилан:

"Гинзберг и трагичен, и динамичен, лирический гений, человек экстраординарной доверительности и, возможно, единственный, имеющий величайшее влияние на Американскую поэзию со времен Уитмена".

Хеллен Вендлер:

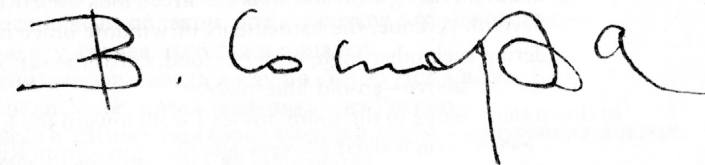
"Благодаря Гинзбергу американская поэзия вздохнула глубоко в середине века... Более того, (он) показал, что нет ничего в американской социальной и эротической реальности, что не могло бы найти места (в ней)... (Его) яркая смесь Блейка, Уитмена, Паунда и Уилльямса, к которым он добавил собственный неуловимый, гротескный и мягкий юмор, снискали ему памятное место в современной поэзии".

Стихи Гинзберга переведены на все языки, о нем у нас много писали (анекдотов), но не печатали, видимо, потому, что его мать из России и он, как может быть, никто в Америке, любит и знает современную русскую поэзию и поэтов и помогает им практически.

"Каддиш" (иврит) - плач по умершим, молитва о матери.

"Каддиш" - первая книга поэта на русском языке, написанная за 5 лет до рождения ее первого издателя - Николая Якимчука.

Я благодарю за помощь в английском языке Наташу Гайкалову и за консультации Нину Алексееву.



Kaddish

For Naomi Ginsberg, 1894-1956

I

Strange now to think of you, gone without corsets & eyes, while I walk on
the sunny pavement of Greenwich Village.
downtown Manhattan, clear winter noon, and I've been up all night, talking,
talking, reading the Kaddish aloud, listening to Ray Charles blues
shout blind on the phonograph
the rhythm the rhythm—and your memory in my head three years after—
And read Adonais' last triumphant stanzas aloud—wept, realizing
how we suffer—
And how Death is that remedy all singers dream of, sing, remember,
prophesy as in the Hebrew Anthem, or the Buddhist Book of An-
swers—and my own imagination of a withered leaf—at dawn—
Dreaming back thru life, Your time—and mine accelerating toward Apoca-
lypse,
the final moment—the flower burning in the Day—and what comes after,
looking back on the mind itself that saw an American city
a flash away, and the great dream of Me or China, or you and a phantom
Russia, or a crumpled bed that never existed—
like a poem in the dark—escaped back to Oblivion—
No more to say, and nothing to weep for but the Beings in the Dream,
trapped in its disappearance,
sighing, screaming with it, buying and selling pieces of phantom, worship-
ping each other,
worshipping the God included in it all—longing or inevitability?—while it
lasts, a Vision—anything more?
It leaps about me, as I go out and walk the street, look back over my shoulder,
Seventh Avenue, the battlements of window office buildings shoul-
dering each other high, under a cloud, tall as the sky an instant—and
the sky above—an old blue place.
or down the Avenue to the south, to—as I walk toward the Lower East Side
—where you walked 50 years ago, little girl—from Russia, eating the
first poisonous tomatoes of America—frightened on the dock—
then struggling in the crowds of Orchard Street toward what?—toward
Newark—
toward candy store, first home-made sodas of the century, hand-churned ice
cream in backroom on musty brown floor boards—
Toward education marriage nervous breakdown, operation, teaching school,
and learning to be mad, in a dream—what is this life?

КАДИШ

Наоми Гинзберг, 1894-1956

I

Странно и думается о тебе, ушедшей без всяких корсетов и глаз,
пока я иду по солнечной стороне Гринвич Виллидж
центр Манхеттена, ясной зимой, лунной, не сплю и всю ночь
говорю, говорю, слушая крик слепоты фонограмм
блюзов Рэя Чарлза
ритм, ритм - и о тебе в моей голове, три года прошло -
и читал Адонаиза последних блеск стансов -
и вслух рыдал и страдал -
что смерть - медикамент, мечта всех поющих, пой, помни, пророчествуй,
как в Иудейском Гимне, или в Буддийской Книге Ответов -
и мое фантазирование лист иссохший - на заре -
Сны в обратную сторону, время твое - и мое, ускорение
к Апокалипсису,
конечная точка - пылание Дня и Цветок, и что же потом,
оглядка в суть памяти, видевшей Американский Город,
вспышку где-то или вдаль, и мечту обо мне или Китае, или тебя и фантом,
Россию или кровать, мятую, будто б не бывшую никогда -
как поэма в ночи, - ускользнула в Ничто -
Нечего говорить, не о чем и рыдать, только о Существох
Мечты, пойманных в сети исчезновений ее,
громко вздыхая, крича, купля-продажа, пакетик фантома,
преклоняемся друг перед другом,
Богу, живущему в этом - порыв, или приговор? -
пока Оно здесь, это Видение - что? и тд.?
Это Оно вокруг, и прыжки, когда выхожу и иду со взором через плечо,
Седьмая Авеню, битва окон офисов, касающихся плечами в высоте,
под небоскребным облаком, вот и высокое это мгновенье -
и небо сверху, старая, голубая площадка
или по Авеню вниз, на юг - когда я иду по Лоуэр Ист Сайд -
где ты брела 50 лет назад, девчонка - из России
жуя первые в жизни помидоры Америки (яд!) - напуганная доками, -
пробиваясь сквозь толпы - куда? - после
борющаяся в толпе Орчард Стрит - за что?
к Ньюарку -
в кондитерскую, к самодельной соде, первооткрытию этого века,
к ледяному крему, вручную сбитому на коричневых, пыльных
досках полов
к нервному истощенью, данному образованием и замужеством, к
операции, учительству в школе и постижению, как быть сумасшедшей

Toward the Key in the window—and the great Key lays its head of light
on top of Manhattan, and over the floor, and lays down on the
sidewalk—in a single vast beam, moving, as I walk down First toward
the Yiddish Theater—and the place of poverty
you knew, and I know, but without caring now—Strange to have moved
thru Paterson, and the West, and Europe and here again,
with the cries of Spaniards now in the doorstoops doors and dark boys on
the street, fire escapes old as you
—Tho you're not old now, that's left here with me—
Myself, anyhow, maybe as old as the universe—and I guess that dies with
us—enough to cancel all that comes—What came is gone forever
every time—
That's good! That leaves it open for no regret—no fear radiators, lacklove,
torture even toothache in the end—
Though while it comes it is a lion that eats the soul—and the lamb, the soul,
in us, alas, offering itself in sacrifice to change's fierce hunger—hair
and teeth—and the roar of bonepain, skull bare, break rib, rot-skin,
braintricked Implacability.
Ai! ai! we do worse! We are in a fix! And you're out, Death let you out,
Death had the Mercy, you're done with your century, done with
God, done with the path thru it—Done with yourself at last—Pure
—Back to the Babe dark before your Father, before us all—before the
world—
There, rest. No more suffering for you. I know where you've gone, it's good.
No more flowers in the summer fields of New York, no joy now, no more
fear of Louis,
and no more of his sweetness and glasses, his high school decades, debts,
loves, frightened telephone calls, conception beds, relatives, hands—
No more of sister Elanor,—she gone before you—we kept it secret—you
killed her—or she killed herself to bear with you—an arthritic heart
—But Death's killed you both—No matter—
Nor your memory of your mother, 1915 tears in silent movies weeks and
weeks—forgetting, agrieve watching Marie Dressler address human-
ity, Chaplin dance in youth,
or Boris Godunov, Chaliapin's at the Met, halling his voice of a weeping Czar
—by standing room with Elanor & Max—watching also the Capital-
ists take seats in Orchestra, white furs, diamonds,
with the YPSL's hitch-hiking thru Pennsylvania, in black baggy gym skirts
pants, photograph of 4 girls holding each other round the waste, and
laughing eye, too coy, virginal solitude of 1920
all girls grown old, or dead, now, and that long hair in the grave—lucky to
have husbands later—

во сне - что эта жизнь?
К Ключу в окне - и великий Ключ положил свою голову света
на вершину Манхеттена, скользя через пол,
и ложится на тротуар - одним широким лучом, движущимся,
пока я иду вниз по Первой к Идиш Театру - собранию нищеты.
ты знала и я, но теперь все равно - Странно: надо ж было
прокрадываться через Патерсон, и Запад, и Европу, и здесь опять,
с воплем Испанцев в дверях веранды и с мальчиками цветными
на улице, огонь исчезает, старый, как ты
- Хоть ты и не старая, та, оставшаяся со мной -
Я же, может быть, старый, как космос - и я угадаю, что умирает с нами -
вычеркнуть Все, что приходит - То, что пришло, потеряем,
навсегда
Отлично! Нечего и жалеть - нет - радиаторов, порций любви, пыток,
даже зуб не болит в конце -
Но пока это придет - этот лев, раздирающий душу - и овца, душа, увы,
предлагающаяся под ножи, чтоб утолить этот голод - шерсть, зубы -
болезненный хруст в костях, череп, сломанное ребро, гнилость
кожи и неумолимость
Ах! ах! нам хуже! Мы затрудняемся! А ты нет, смерть твой выход, Смерть
Сострадает, ты сделана веком и Богом и выходом из - и самую собой -
Чистая - Вспять в Младенческую Невинность, до отца, до нас всех -
до миров -
Вот и отдых. И нету страданий. Известно, куда ты ушла. Хорошо.
Ни летних цветов на полях Нью-Йорка. Ни оживлений и страха перед
Луисом
Нет сладости и очков, нет семестров в средней школе, долгов,
любвей, испуганных телефонных звонков, кроватей зачатий,
родственников, рук -
Нет сестры Эланор - ушла от тебя - мы секретничаем - ты убила ее -
или она убила тебя долготерпеньем с тобой - артрическое сердце
- но Смерть убила ее и тебя - Ну и что? -
Ни твоей матери в памяти, 1915, слезы фильмов немых, в них забыться
неделю за неделей, скорбный вид Мари Дрессилер, зов к человечеству,
танец Чаплина на заре,
Ни Бориса Годунова Шалаяпина в Метрополитен Опера, оглашающего
зал слезами Царя - а галерка с Эланор и Максом - смотрим,
как Капиталисты эксплуатируют в партере, белый мех, бриллианты.
С ЮПСЛ автостопом по Пенсильвании в смешных гимнастических
юбках, брюках, фото четырех девчонок, держат друг друга за талию,
и смеются, застенчивые, одиночество девственниц, 1920,
эти девочки постарели, или умерли, эти длинные волосы - в могиле,
или повезло выйти замуж позднее -

You made it—I came too—Eugene my brother before (still grieving now and will gream on to his last stiff hand, as he goes thru his cancer—or kill —later perhaps—soon he will think—)
And it's the last moment I remember, which I see them all, thru myself, now —tho not you
I didn't foresee what you felt—what more hideous gape of bad mouth came first—to you—and were you prepared?
To go where? In that Dark—that—in that God? a radiance? A Lord in the Void? Like an eye in the black cloud in a dream? Adono! at last, with you?
Beyond my remembrance! Incapable to guess! Not merely the yellow skull in the grave, or a box of worm dust, and a stained ribbon—Deaths-head with Halo? can you believe it?
Is it only the sun that shines once for the mind, only the flash of existence, than none ever was?
Nothing beyond what we have—what you had—that so pitiful—yet Triumph,
to have been here, and changed, like a tree, broken, or flower—fed to the ground—but mad, with its petals, colored, thinking Great Universe, shaken, cut in the head, leaf stript, hid in an egg crate hospital, cloth wrapped, sore—freaked in the moon brain. Naughtless.
No flower like that flower, which knew itself in the garden, and fought the knife—lost
Cut down by an idiot Snowman's icy—even in the Spring—strange ghost thought—some Death—Sharp icicle in his hand—crowned with old roses—a dog for his eyes—cock of a sweatshop—heart of electric irons.
All the accumulations of life, that wear us out—clocks, bodies, consciousness, shoes, breasts—begotten sons—your Communism—'Paranoia' into hospitals.
You once kicked Elanor in the leg, she died of heart failure later. You of stroke. Asleep? within a year, the two of you, sisters in death. Is Elanor happy?
Max grieves alive in an office on Lower Broadway, lone large mustache over midnight Accountings, not sure. His life passes—as he sees—and what does he doubt now? Still dream of making money, or that might have made money, hired nurse, had children, found even your Immortality, Naomi?
I'll see him soon. Now I've got to cut through—to talk to you—as I didn't when you had a mouth.
Forever. And we're bound for that, Forever—like Emily Dickinson's horses —headed to the End.

Ты так поступила - и я пришел, - Юджин мой брат до меня (все еще огорчающий и сейчас и впредь до последней своей застывшей руки, до которой докатится он от рака - может убьет - может, попозже - станет думать)
И последняя память, я вижу их всех сквозь себя - но не тебя
Я не знал, что у тебя - что еще - пришло - до отверстия мертвого рта - ужас - и была ль ты готова?
Идти, но куда? В этот Мрак - этот Бог? этот нимб? Этот Лорд в Пустоте? Как глаз в грозовом облаке во сне? Адонай-то с тобою?
Запредельная память моя! Не угадать! Ни желтый череп в земле, или ящик червивой грязи и выцветших лент - Череп - в Венке? веришь ли мне?
Неужто лишь солнце, светящее разуму в кои-то веки, лишь миг у существ, которых и не было
Кроме того, что сейчас, ничего - что у тебя - грустно это - и все ж Триумф
здесь побывать, и измениться, как дерево сломанное, или цветок, съеденный до корней - но неистовый, был с лепестками в цветку, мыслящее Мирозданье, сотрясаемый, раненный в голову, с оборванными листьями, засажен в яичную клетку богадельни, окован одеждой, жалкий - в пятнышках лунных мозг, Небесполезный
Нет такого, как этот, он все понял в саду о себе и сопротивлялся ножу - утерян
срезал его дебилоид, снежный человек, ледяной - и весной - странная прихоть - мышление призрака - чья-то там Смерть - острой сосулькой в руке его - увитая розой старинной - будь проклят - петух из инкубатора бройлеров - сердце электрических утюгов.
Аккумуляции жизни нас изнурили - часы, тела, сознания, туфли, груди - порожденные совы - твой Коммунизм - "Параноя" в госпиталях
Ты как-то пнула Эланор в ногу, та умерла от сердечного паралича.
Во сне? в один год, обе вы, сестры, мертвы. Счастлива Эланор?
Макс погибает в офисе на Лоуэр Бродвей, одинок, большие усы над бухгалтерской книгой за полночь, в сомненьях. Жизнь его такова, как он видит - и в чем же его сомненья сейчас? И сейчас он мечтает все так же делать деньги, или что смог бы делать деньги, взять сиделку, родить детей, даже найти Бессмертие для тебя, Наоми?
Скоро его увижу. Сейчас я закончу дело - договору с тобой - как не говорил в то время, когда у тебя был рот.
Навсегда. И не избежать, как коням Эмили Дикинсон - скачут к Концу.

They know the way—These Steeds—run faster than we think—it's our own life they cross—and take with them.

Magnificent, mourned no more, marred of heart, mind behind, married dreamed, mortal changed—Ass and face done with murder.

In the world, given, flower maddened, made no Utopia, shut under pine, almed in Earth, balmed in Lone, Jehovah, accept.)

Nameless, One Faced, Forever beyond me, beginningless, endless, Father in death. Tho I am not there for this Prophecy, I am unmarried, I'm hymnless, I'm Heavenless, headless in blisshood I would still adore

Thee, Heaven, after Death, only One blessed in Nothingness, not light or darkness, Dayless Eternity—

Take this, this Psalm, from me, burst from my hand in a day, some of my Time, now given to Nothing—to praise Thee—But Death

This is the end, the redemption from Wilderness, way for the Wonderer, House sought for All, black handkerchief washed clean by weeping—page beyond Psalm—Last change of mine and Naomi—to God's perfect Darkness—Death, stay thy phantoms!

II

Over and over—refrain—of the Hospitals—still haven't written your history—leave it abstract—a few images

run thru the mind—like the saxophone chorus of houses and years—remembrance of electrical shocks.

By long nites as a child in Paterson apartment, watching over your nervousness—you were fat—your next move—

By that afternoon I stayed home from school to take care of you—once and for all—when I vowed forever that once man disagreed with my opinion of the cosmos, I was lost—

By my later burden—vow to illuminate mankind—this is release of particulars—(mad as you)—(sanity a trick of agreement)—

But you stared out the window on the Broadway Church corner, and spied a mystical assassin from Newark,

So phoned the Doctor—'OK go way for a rest'—so I put on my coat and walked you downstreet—On the way a grammarschool boy screamed, unaccountably—'Where you goin Lady to Death'? I shuddered—

and you covered your nose with motheaten fur collar, gas mask against poison sneaked into downtown atmosphere, sprayed by Grandma—

And was the driver of the cheesebox Public Service bus a member of the gang? You shuddered at his face, I could hardly get you on—to New York, very Times Square, to grab another Greyhound—

Путь знаком - этим Коням - быстрее бегут, чем думаем мы - это по нашей жизни они - и возьмут с собой.

Великолепный и не оплакиваемый, искаженное сердце, ум, позади превратившийся - в Зад, и лицо, смастеренное смертью.

В мир, в данность, ополоумевший от цветенья, не построивший Утопию, закрывшийся под сосной, жертвующий все в землю, умиряющий Поодиночке, Иегова, возьми.

Безымянный, Одноликий, Навсегда непостижимый мной, безначальный, бесконечный, Отец-в-Смерти. Хоть я и не там для этих пророчеств, не женат, не поется гимнов, не Небесен, безумен, блажен, а все ж преклоняюсь.

Вам, Небеса после Смерти, Одно прекрасно в Небытии, не свет и не тьма, а Черная Вечность -

Возьми ж этот псалм, из рук моих выплесни в день, частицу моих времен, отданных ничему - чтоб славить Тебя и Смерть

Это конец, выход из Пустыни, путь у Бродяги, Пристань для всех, черный платок, отбеленный слезами - страница, положенная на Псалм, - Последняя метаморфоза меня и Наоми - для Божьей Тьмы совершенств - Смерть, удержи этот фантом!

II

Вновь и вновь - рефрен - Госпиталям - еще не писалась история ваша - оставим абстрактной - образцы разбегаются в памяти - как хор саксофонный домов и дат - мемуары электрошоков.

Ночами длинными, как ребенок в квартире, Патерсон, наблюдая твою невропатию - ты толстела - твое - шаг за шагом -

В тот день я не в школе, я дома, ходя за тобой - раз и навек - я клялся - если кто-то не подтвердит мою идею космо, я погиб - моя еще одна ноша - клялся быть просветителем человечества - избавить его от мелочей - (безумен, как ты) - (здравомыслие - трюк компромиссов). -

Но ты изо всех сил глядишь из окна на угол Бродвей Черч и выслеживаешь убийцу, мистического, наемного из Ньюарка.

Доктор звонит - "О кей, приходите на отдых!" - надеваю пальто, провожаю вниз, попадается школьник, вскрикивает безотчетно - "Куда Вы, Леди, к Смерти?" - я вздрагиваю -

а ты прячешь нос в молью траченный меховой воротник, газовые маски проникли уж в город, бросают их, Бабушка -

И не гангстер ли этот водитель автобуса Паблик Сервис по доставке сыра? Ты вздрогнула, ешь, глядя прямо ему в лицо, я заставляю тебя двигаться дальше - в Нью-Йорк, на Таймс Сквайр, на перехват - где мы проболтались

where we hung around 2 hours fighting invisible bugs and jewish sickness—breeze poisoned by Roosevelt—

out to get you—and me tagging along, hoping it would end in a quiet room in a Victorian house by a lake.

Ride 3 hours thru tunnels past all American industry, Bayonne preparing for World War II, tanks, gas fields, soda factories, diners, locomotive roundhouse fortress—into piney woods New Jersey Indians—calm towns—long roads thru sandy tree fields—

Bridges by deerless creeks, old wampum loading the streambed—down there a tomahawk or Pocahontas bone—and a million old ladies voting for Roosevelt in brown small houses, roads off the Madness highway—

perhaps a hawk in a tree, or a hermit looking for an owl-filled branch—

All the time arguing—afraid of strangers in the forward double seat, snoring regardless—what busride they snore on now?

'Allen, you don't understand—it's—ever since those 3 big sticks up my back—they did something to me in Hospital, they poisoned me, they want to see me dead—3 big sticks, 3 big sticks—

'The Bitch! Old Grandma! Last week I saw her, dressed in pants like an old man, with a sack on her back, climbing up the brick side of the apartment

'On the fire escape, with poison germs, to throw on me—at night—maybe Louis is helping her—he's under her power—

'I'm your mother, take me to Lakewood' (near where Graf Zeppelin had crashed before, all Hitler in Explosion) 'where I can hide.'

We got there—Dr. Whatzis rest home—she hid behind a closet—demanded a blood transfusion.

We were kicked out—tramping with Valise to unknown shady lawn houses—dusk, pine trees after dark—long dead street filled with crickets and poison ivy—

I shut her up by now—big house REST HOME ROOMS—gave the landlady her money for the week—carried up the iron valise—sat on bed waiting to escape—

Neat room in attic with friendly bedcover—lace curtains—spinning wheel rug—Stained wallpaper old as Naomi. We were home.

I left on the next bus to New York—laid my head back in the last seat, depressed—the worst yet to come?—abandoning her, rode in torpor—I was only 12.

Would she hide in her room and come out cheerful for breakfast? Or lock her door and stare thru the window for sidestreet spies? Listen at keyholes for Hitlerian invisible gas? Dream in a chair—or mock me, by—in front of a mirror, alone?

около 2-х часов, борясь с невидимыми клопами и еврейской болезнью - легкий бриз, отравленный Рузвельтом - выволакиваю из автобуса и - бреду за тобой, и надеюсь, что это все прекратится в тишине Викторианского дома у озера.

Ехать 3 часа по туннелю через всю Америку индустрии, Бейон готовится ко 2-ой Мировой войне, танки, месторождения газа, фабрики содовой, вагон-рестораны, крепость (башня) депо локомотивов - в леса, из сосен индейцев Нью-Джерси - тихие городки - и дороги в длину через поля песков и деревьев -

Мосты над реками, нету оленей, старинные ожерелья из раковин, громоздящие русло - ниже - томагавк, или кость Покахонтеса - и миллион старых дев голосуют за Рузвельта в мелких коричневых домиках, эти дороги в стороне от шоссе Безумья -

Может быть ястреб на дереве, или отшельник, что ищет совиные гнезда. -

Споры, ссоры с тобой - испуганная неизвестными на двойных сиденьях перед нами, храпят, несмотря ни на что - в каких автобусах они храпят теперь?

"Аллен, тебе не понять - это с тех пор, как 3 палки больших в моей спине - что-то они сотворили со мной в Больнице, они отравили меня, хотели убить - 3 палки, 3 палки -

"Сука! Бешеная старуха! Я вижу ее неделю назад, лезет вверх по кирпичной стене квартиры, в брюках, как старый мужлан, с мешком на плечах

"Выплеснулся огонь ядовитых микробов, и на меня - ночью - это Луис с ней в сговоре, сообщник, - она им командует -

"Я твоя мать, отвези меня в Лейквуд (где граф Цепелин² взорвался, весь Гитлер во взрыве!), где я спрячусь".

Приезжаем - гостиница д-Уотзис - Наоми скрывается в туалете - требует переливания крови

Просят - мы топаем с чемоданом к незнакомым домам на тенистой лужайке - сумрак, сосны из темноты, - длинная, вымершая земля, всюду сверчки и ядовитый плющ -

Замолчи - дом, КОМНАТА ОТДЫХА - деньги хозяйке за неделю - поднимаю каменный чемодан - сажусь на кровать с мыслью удрать -

Мансарда, комната с покрывалом - шторы из кружев - тканый ковер - в пятнах обои, старые, как Наоми. Мы дома.

Первым автобусом уезжаю в Нью-Йорк - закинув голову, на последнем сиденье, тоскливо - худшее все еще впереди? - еду и цепеню - я, двенадцатилетний

Спрячется в комнате и выйдет веселая к завтраку? Или замкнется чтоб видеть в окно шпионов окрестных улиц? Ухо приложит к замочной скважине, нет ли неуловимого газа от Гитлера? Уснет на стуле, - или дразнит меня - у зеркала, в одиночестве?

12 riding the bus at nite th. u New Jersey, have left Naomi to Parcae in Lakewood's haunted house—left to my own fate bus—sunk in a seat— all violins broken—my heart sore in my ribs—mind was empty—Would she were safe in her coffin—

Or back at Normal School in Newark, studying up on America in a black skirt—winter on the street without lunch—a penny a pickle—home at night to take care of Elanor in the bedroom—

First nervous breakdown was 1919—she stayed home from school and lay in a dark room for three weeks—something bad—never said what—every noise hurt—dreams of the creaks of Wall Street—

Before the gray Depression—went upstate New York—recovered— Lou took photo of her sitting crossleg on the grass—her long hair wound with flowers— smiling—playing lullabies on mandolin—poison ivy smoke in left-wing summer camps and me in infancy saw trees—

or back teaching school, laughing with idiots, the backward classes— her Russian specialty—morons with dreamy lips, great eyes, thin feet & sickly fingers, swaybacked, rachitic—

great heads pendulous over Alice in Wonderland, a blackboard full of C A T.

Naomi reading patiently, story out of a Communist fairy book—Tale of the Sudden Sweetness of the Dictator—Forgiveness of Warlocks—Armies Kissing—

Deathsheads Around the Green Table—The King & the Workers— Paterson Press printed them up in the '30s till she went mad, or they folded, both.

O Paterson! I got home late that nite. Louis was worried. How could I be so—didn't I think? I shouldn't have left her. Mad in Lakewood. Call the Doctor. Phone the home in the pines. Too late.

Went to bed exhausted, wanting to leave the world (probably that year newly in love with R— my high school mind hero, jewish boy who came a doctor later—then silent neat kid—

I later laying down life for him, moved to Manhattan—followed him to college—Prayed on ferry to help mankind if admitted—vowed, the day I journeyed to Entrance Exam—

by being honest revolutionary labor lawyer—would train for that— inspired by Sacco Vanzetti, Norman Thomas, Debs, Altgeld, Sandburg, Poe—Little Blue Books. I wanted to be President, or Senator.

ignorant woe—later dreams of kneeling by R's shocked knees declaring my love of 1941—What sweetness he'd have shown me, tho, that I'd wished him & despaired—first love—a crush—

Later a mortal avalanche, whole mountains of homosexuality, Matter-horns of cock, Grand Canyons of asshole—weight on my melancholy head—

Еду, 12, автобус, Нью-Джерси ночью, оставляя Наоми Паркам в Лейквудском доме призраков - уезжаю с своею судьбой - в кресле тону - все скрипки разбиты - боль сердца под ребрами - пустоголов - Безопасность ли в этом гробу?

Или вновь она в Школу Учителей Ньюарка, изучает Америку в черной юбке - зима, нет завтрака - пенни за пикуль - дом, ночь, ходить за Эланор в спальне -

Первый невроз 1919 - в Школу не ходит, лежит в темноте 3 недели - что-то ей худо - не говорила, что - всякий шум ранит - Сны о том, как скрипит Уолл-Стрит -

Перед серой Депрессией - едет на север штата Нью-Йорк - выздоравливает - Луис сфотографировал, сидит со скрещенными ногами в траве - длинноволосая, вся в цветах - смеется - поет колыбельные на мандолине - ядовит дух плюща в летних лагерях, левых, и я, младенец, смотрю на деревья

Или опять учительствовать, смеясь с идиотами, отстающие классы - ее русская специальность - слабоумные, сочные губы, большие глаза, тонкие ноги, больные пальцы, прогиб в поясницах, рахиты -

громadne головы раскланиваются над Алисой в Стране Чудес, на доске нарисованы одни КОШКИ

Наоми, читающая терпеливо рассказ из Книги Коммунистических басен - Сказку О Неожиданной Щедрости Диктатуры - Реабилитация Ведьм - Целования Армий -

Пляски Смерти Вокруг Зеленого Стола³ - Император и Трудящиеся - Патерсон Пресс печатала их до 30-х годов, пока не свихнулась и тут же прикрыли, одновременно.

О Патерсон! Я поздно вернулся в ту ночь. Луис в тревоге. Как я мог - не думал ли я - я не смел оставлять ее. Сумасшедшую в Лейквуде. Вызвать врача. Дозвониться в дом, окруженный соснами. Но поздно.

Спать иду, измочаленный, хочу умереть (кажется, в том году влюбленность в Р. - наша средняя школа помнит героя, еврейского мальчика, стал он врачом - а тогда молчаливый, опрятный ребенок -

Я поехал за ним, переехал в Манхеттен, поступил за ним в колледж - я Бога молил на пароме помочь человечеству, если примут, дал обет в день Приемных экзаменов -

Я, революционер-лейборист, честный - учат ли этому - вдохновленный Сакко, Ванцетти, Норманом Томасом⁴, Дебсом⁴, Альтгельдом⁵, Сандбергом, По - Маленькими Голубыми Книгами⁶, я мечтал стать Президентом, или Сенатором.

горе неграмотному - я мечтал стать на колени у Потрясенных колен Р., повествуя о моей любви 1941 - Как мил он был со мною, хоть я и хотел его, и отчаялся - первая любовь - потеря головы).

После гибельная лавина, целые горы гомосексуализма, гнойные рога петуха, Большой Каньон, заднепроходный - тяжкая моя, меланхолическая голова -

meanwhile I walked on Broadway imagining Infinity like a rubber ball without space beyond—what's outside?—coming home to Graham Avenue still melancholy passing the lone green hedges across the street, dreaming after the movies—)

The telephone rang at 2 A.M.—Emergency—she'd gone mad—Naomi hiding under the bed screaming bugs of Mussolini—Help! Louis! Buba! Fascists! Death!—the landlady frightened—old fag attendant screaming back at her—

Terror, that woke the neighbors—old ladies on the second floor recovering from menopause—all those rags between thighs, clean sheets, sorry over lost babies—husbands ashen—children sneering at Yale, or putting oil in hair at CCNY—or trembling in Montclair State Teachers College like Eugene—

Her big leg crouched to her breast, hand outstretched Keep Away, wool dress on her thighs, fur coat dragged under the bed—she barricaded herself under bedspring with suitcases.

Louis in pajamas listening to phone, frightened—do now?—Who could know?—my fault, delivering her to solitude?—sitting in the dark room on the sofa, trembling, to figure out—

He took the morning train to Lakewood, Naomi still under bed—thought he brought poison Cops—Naomi screaming—Louis what happened to your heart then? Have you been killed by Naomi's ecstasy?

Dragged her out, around the corner, a cab, forced her in with valise, but the driver left them off at drugstore. Bus stop, two hours' wait.

I lay in bed nervous in the 4-room apartment, the big bed in living room, next to Louis' desk—shaking—he came home that nite, late, told me what happened.

Naomi at the prescription counter defending herself from the enemy—racks of children's books, douche bags, aspirins, pots, blood—'Don't come near me—murderers! Keep away! Promise not to kill me!'

Louis in horror at the soda fountain—with Lakewood girlscouts—Coke addicts—nurses—busmen hung on schedule—Police from country precinct, dumber—and a priest dreaming of pigs on an ancient cliff?

Smelling the air—Louis pointing to emptiness?—Customers vomiting their Cokes—or staring—Louis humiliated—Naomi triumphant—The Announcement of the Plot. Bus arrives, the drivers won't have them on trip to New York.

Phonecalls to Dr. Whatzis, 'She needs a rest,' The mental hospital—State Greystone Doctors—'Bring her here, Mr. Ginsberg.'

Naomi, Naomi—sweating, bulge-eyed, fat, the dress unbuttoned at one side—hair over brow, her stocking hanging evilly on her legs—screaming for a blood transfusion—one righteous hand upraised—a shoe in it—barefoot in the Pharmacy—

Между тем шел я по Бродвею, вообразив Бесконечность, как резиновый мяч, герметичный - что вне ЕЕ? - возвращаясь к себе на Грэхем Авеню - с тою же меланхолией мимо зеленых оград, одиноких, на улице, справа, и спал после кино -

В 2 ночи звонит телефон - Срочно - она сошла с ума - Наоми, спрятавшись под кровать, выкрикивает лозунги Муссолини, безумные - На помощь! Буба! Фашисты! Смерть! - хозяйка напугана, старик, изможденный, помощник, шумит на нее -

Террор, это будит соседей - леди вторых этажей, здравеющие от климаткса - это тряпье между бедер, чистые простыни, печаль о потерянных детях - мужья мертво-бледны - дети с ухмылкой в Йеле, или с намасленными волосами в ССНУ, или дрожащие в Государственном Колледже в Монкклере, как Юджин -

Она подогнула большие ноги к груди, рукой указывает Держитесь Подалее, бедро в шерстяном, меховое пальто под кроватью - баррикада из чемоданов под сеткой кровати.

Луис, в пижаме у телефона, боится - что делать? Кто знать мог? - я виноват, довести до одиночки? - сидит в темноте, на диване, дрожа, постигая -

Утренним поездом в Лейквуд. Наоми еще под кроватью - ей кажется, он привел мерзких ментов - Наоми кричит - Луис, что с твоим сердцем? Ты убил ее истерией?

Вытянул из-под кровати, за угол, на такси, втолкнул с чемоданом, но шофер выставил их у аптеки. Автобусная остановка, ждут два часа.

Я нервничаю в кровати 4-х комнатной квартиры, кровать и в гостиной у письменного стола, где Луис - качается - он явился домой ночью, поздно, сказал обо всем.

Наоми у полки с рецептами, защищается от врагов - ряды книг для детей, чехлы для спринцовок, аспиринов, горшки, кровь - "Прочь, убийцы! Стоп! Не убивайте меня!"

Луис, ужасен с фонтаном содовой - с девочками-скаутами с Лейквуда - кокаионисты - медсестры - водитель автобуса, строго по расписанию - Полиция, деревенская, тупая - и священник с мечтою о свиньях на диком утесе?

Вдыхая - Луис опустошен - клиенты бьют Кокаином, или вот-вот будут блевать - Луис оскорбленный - Наоми триумфаторша - Путч раскрыт. Вот и автобус, но не возьмут их в Нью-Йорк.

Звонят, д-р Уотазис. "Ей на отдых". Психбольница - Государственные Грейстоун-Врачи - "Привозите ее, м-р Гинзберг".

Наоми, Наоми, потеет, круглоглазая, платье расстегнуто сбоку - лоб в волосах, чулки, свисшие с ног - "кровь перелейте" - вверх рука, справа - в ней туфля - босая в Аптеке.

The enemies approach—what poisons? Tape recorders? FBI? Zhdanov hiding behind the counter? Trotsky mixing rat bacteria in the back of the store? Uncle Sam in Newark, plotting deathly perfumes in the Negro district? Uncle Ephraim, drunk with murder in the politician's bar, scheming of Hague? Aunt Rose passing water thru the needles of the Spanish Civil War?

till the hired \$35 ambulance came from Red Bank—Grabbed her arms—strapped her on the stretcher—moaning, poisoned by imaginaries, vomiting chemicals thru Jersey, begging mercy from Essex County to Morristown—

And back to Greystone where she lay three years—that was the last breakthrough, delivered her to Madhouse again—

On what wards—I walked there later, oft—old catatonic ladies, gray as cloud or ash or walls—sit crooning over floorspace—Chairs—and the wrinkled hags acreeep, accusing—begging my 13-year-old mercy—

'Take me home'—I went alone sometimes looking for the lost Naomi, taking Shock—and I'd say, 'No, you're crazy Mama,—Trust the Drs.'—

And Eugene, my brother, her elder son, away studying Law in a furnished room in Newark—

came Paterson-ward next day—and he sat on the broken-down couch in the living room—'We had to send her back to Greystone'—

—his face perplexed, so young, then eyes with tears—then crept weeping all over his face—'What for?' wail vibrating in his cheekbones, eyes closed up, high voice—Eugene's face of pain.

Him faraway, escaped to an Elevator in the Newark Library, his bottle daily milk on windowsill of \$5 week furn room downtown at trolley tracks—

He worked 8 hrs. a day for \$20/wk—thru Law School years—stayed by himself innocent near negro whorehouses.

Unlaid, poor virgin—writing poems about Ideals and politics letters to the editor Pat Eve News—(we both wrote, denouncing Senator Borah and Isolationists—and felt mysterious toward Paterson City Hall—

I sneaked inside it once—local Moloch tower with phallus spire & cap o' ornament, strange gothic Poetry that stood on Market Street—replica Lyons' Hotel de Ville—

wings, balcony & scrollwork portals, gateway to the giant city clock, secret map room full of Hawthorne—dark Debs in the Board of Tax—Rembrandt smoking in the gloom—

Silent polished desks in the great committee room—Aldermen? Bd of Finance? Mosca the hairdresser aplot—Crapp the gangster issuing orders from the john—The madmen struggling over Zone, Fire, Cops & Backroom

Вот и врачи - где яды? Магнитофоны? ФБР? Жданов, спрятанный за прилавком? Троцкий, смешавший коктейль из бактерий крыс в глубине магазина? Дядюшка Сэм в Ньюарке, лелеющий план смертоносных паров на Негритянский Квартал? Дядюшка Эфраим, одурманенный кровью в баре политиков, планирующий Гаагскую Конференцию? Тетя Роза, цедающая воду сквозь иглы взрывателей Гражданской войны в Испании?

пока не явилась скорая помощь за 35 долларов из Рэд Бэнка - держали за руки - привязывали к носилкам - стонет, о ирреальность - рыгает химическим через шерсть, просит Сострадания к Морристоун у Графства Эссекс -

и снова в Грейстоун, где пролежала три года - то был последний срыв, окончившийся Сумасшедшим Домом -

Под чью опеку, в какую палату - я ходил туда позже и часто - старые женщины, недвижимые, как серое облако в пепле, или как стены - мурлыкают песенки на полу. Стулья - как ведьмы, в морщинах, еле двигают ноги - проклинают - чтоб я их жалел, мне 13 -

"Возьми домой" - я шел иногда один, искал потерянную Наоми, впадая в Столбняк - и я говорил "Нет, ты ненормальная, Мама, - Верь Врачам" -

И Юджин, старший сын твой, мой брат, изучающий право в меблирашке в Ньюарке -

прибыл под звон Патерсона с утра - садится в битое кресло в гостиной - "Нужно ее обратно в Грейстоун" -

смутился, такой молодой и слезы в глазах - плачет, гримасы - "Почему?" скулы дрожат и рыдает, прикрыты глаза, тоненький голос, лицо - боль Юджина

издалека, он прыгнул в лифт Библиотеки Ньюарка, ежеутренняя бутылка молока на подоконнике за 5 долл., меблирашка, где центр, у троллейбусных линий -

трудится 8 час. в день за 20 в неделю - и учится в Юридической школе - одинокий, невинный у негритянских борделей

он бедная Донна - пишет в рифму об идеалах и пункты политики в Пат Еве Ньюс (мы вместе писали, бичуя Сенатора Бораха и Изоляционистов и понимали мистерии Патерсон Сити Холла) -

как-то я глянул вовнутрь - башня Молох, локальная, с фаллосом-шпилем, с орнаментальной вершиной, странная готическая Поэма на Маркер Стрит - копия Лайонс Отель де Вилль -

крылья, балконы, порталы с лепкою в завитках, ворота к гигантским часам, городским, секретная карта, комната, набитая боярышником - мрачный Дебс в Совете Налогов, Рембрандт, курящий во мгле

Молчат полированные столы в большом комитете - Ольдермен? Бюро финансов? Моска, парикмахер и заговорщик - Мажь говном гангстера и его приказы из сральни - Полудурок, борется с Связью, Огнем и Ментами,

Metaphysics—we're all dead—outside by the bus stop Eugene stared thru childhood—

where the Evangelist preached madly for 3 decades, hard-haired, cracked & true to his mean Bible—chalked Prepare to Meet Thy God on civic pave—

or God is Love on the railroad overpass concrete—he raved like I would rave, the lone Evangelist—Death on City Hall—)

But Gene, young.—been Montclair Teachers College 4 years—taught half year & quit to go ahead in life—afraid of Discipline Problems—dark sex Italian students, raw girls getting laid, no English, sonnets disregarded—and he did not know much—just that he lost—

so broke his life in two and paid for Law—read huge blue books and rode the ancient elevator 13 miles away in Newark & studied up hard for the future

just found the Scream of Naomi on his failure doorstep, for the final time, Naomi gone, us lonely—home—him sitting there—

Then have some chicken soup, Eugene. The Man of Evangel wails in front of City Hall. And this year Lou has poetic loves of suburb middle age—in secret—music from his 1937 book—Sincere—he longs for beauty—

No love since Naomi screamed—since 1923?—now lost in Greystone ward—new shock for her—Electricity, following the 40 Insulin.

And Metrazol had made her fat.

So that a few years later she came home again—we'd much advanced and planned—I waited for that day—my Mother again to cook &—play the piano—sing at mandolin—Lung Stew, & Stenka Razin, & the communist line on the war with Finland—and Louis in debt—suspected to be poisoned money—mysterious capitalisms

—& walked down the long front hall & looked at the furniture. She never remembered it all. Some amnesia. Examined the doilies—and the dining room set was sold—

the Mahogany table—20 years love—gone to the junk man—we still had the piano—and the book of Poe—and the Mandolin, tho needed some string, dusty—

She went to the backroom to lie down in bed and ruminate, or nap, hide—I went in with her, not leave her by herself—lay in bed next to her—shades pulled, dusky, late afternoon—Louis in front room at desk, waiting—perhaps boiling chicken for supper—

'Don't be afraid of me because I'm just coming back home from the mental hospital—I'm your mother—'

Poor love, lost—a fear—I lay there—Said, 'I love you Naomi,'—stiff, next to her arm. I would have cried, was this the comfortless lone union?—Nervous, and she got up soon.

с Метафизикой из-за Кулис - мы мертвецы - на улице у автобусной остановки Юджин пристально в детство смотрел

где молился Евангелист, полоумный, о 3-х декадах, жестковолосый, помешался на вере в свою утлую Библию - бледнолиц, Встречающий Тебя Господи, патриот на укатанной всеми дорожке -

или Бог и Любовь на бетонном мостке над железной дорогой - он бредов, как и я, одиночка-Евангелист - Смерть в Сити-Холл -

Но Юджин, юный - в Учительском Колледже Монклера 4-хгодичном - полгода учится и бросает - идет в жизнь - боится Дисциплинарных Проблем - грязносексуальных Итальянских студентов, грубые девки, нет Инглишь, сонеты не в счет - и знал только то - что потерял -

так свихнул свою жизнь на две и платил за Право - читая книги, огромные, голубые и катался на старомодном лифте в 13 милях от Ньюарка - учился прилежно, футурум

вдруг вой Naomi на ступеньках крыльца неудач, финальное время, Naomi ушла - мы одни - дома - сидим

С'ешь куриного супика, Юджин. Человек из Евангелия декламирует перед Сити-Холл. И в тот же год у Луиса поэтические любви окрестных отроковиц - тайком - музыка из его 1937-ой книги - искренний - он хотел красоты -

Ни единой любви с тех времен, как Naomi завывла - с 1923 - новости у нее - Электрошок за 40-м Инсулином.

От Метразола толстеет⁷.

И вот через столько-то лет она дома - мы, планируем - я ждал этот миг - моя Мать снова будет кормить и - и брнчать на фортепиано - под мандолину - Ланг Стью и Стенька Разин, и коммунистический профиль войны с Финляндией - и Луис в долгах - подозревала грязные - Капитализмы

Идет по гостиной и смотрит мебель. Не помнит ее. Амнезия. Изучает салфетки - и гарнитур из столовой уплыл -

Красного дерева стол - 20-летней любви - у старьевщика - но еще пианино - и книга По - и Мандолина, хоть и в пыли, и без струн

Уходит в дальнюю комнату и в кровать, думает, дремлет, и отстраняется - я вхожу, не быть же ей самою с собой - лег рядом - тени, тягучие, сумерки раннего вечера - Луис во фронтоне, ждет за столом - может быть варит

"Не бойся, я просто вернулась из психиатрической клиники - я мама" -

Любовь моя бедная и потерянная - боюсь - и лежу - говорю "Я люблю тебя, Naomi" и цепенею рядом с ее рукой. Мне б заплакать, а этот безутешный и одинокий союз? Нервы, встает.

Was she ever satisfied? And—by herself sat on the new couch by the front windows, uneasy—cheek leaning on her hand—narrowing eye—at what fate that day—

Picking her tooth with her nail, lips formed an O, suspicion—thought's old worn vagina—absent sideglance of eye—some evil debt written in the wall, unpaid—& the aged breasts of Newark come near—

May have heard radio gossip thru the wires in her head, controlled by 3 big sticks left in her back by gangsters in amnesia, thru the hospital—caused pain between her shoulders—

Into her head—Roosevelt should know her case, she told me—Afraid to kill her, now, that the government knew their names—traced back to Hitler—wanted to leave Louis' house forever.

One night, sudden attack—her noise in the bathroom—like croaking up her soul—convulsions and red vomit coming out of her mouth—diarrhea water exploding from her behind—on all fours in front of the toilet—urine running between her legs—left retching on the tile floor smeared with her black feces—unfainted—

At forty, varicosed, nude, fat, doomed, hiding outside the apartment door near the elevator calling Police, yelling for her girlfriend Rose to help—

Once locked herself in with razor or iodine—could hear her cough in tears at sink—Lou broke through glass green-painted door, we pulled her out to the bedroom.

Then quiet for months that winter—walks, alone, nearby on Broadway, read Daily Worker—Broke her arm, fell on icy street—

Began to scheme escape from cosmic financial murder plots—later she ran away to the Bronx to her sister Elanor. And there's another saga of late Naomi in New York.

Or thru Elanor or the Workmen's Circle, where she worked, addressing envelopes, she made out—went shopping for Campbell's tomato soup—saved money Louis mailed her—

Later she found a boyfriend, and he was a doctor—Dr. Isaac worked for National Maritime Union—now Italian bald and pudgy old doll—who was himself an orphan—but they kicked him out—Old cruelties—

Sloppier, sat around on bed or chair, in corset dreaming to herself—'I'm hot—I'm getting fat—I used to have such a beautiful figure before I went to the hospital—You should have seen me in Woodbine—' This in a furnished room around the NMU hall, 1943.

Looking at naked baby pictures in the magazine—baby powder advertisements, strained lamb carrots—'I will think nothing but beautiful thoughts.'

А сатисфакция? Садится в новое кресло у окон, тяжелая - щекою на руку - сужает глаза - чей роковой этот день -

Ковыряет ногтем в зубах - губы как O, подозреваю - не первой молодости влагалище - и смотрит пусто - немыслимые долги, записанные на стене, неоплаченные - и стертые груди Ньюарка - вот что приходит мне в голову -

Может, слушает радиосплетни по проволоке в мозгу, где дирижеры 3 палки, оставленных гангстерами по забывчивости в больнице - вот и боли меж плеч -

Рузвельту б знать ее жизнь, говорит - Страх и убьют, но правительство знает их имена - тянут к Гитлеру - дом Луиса бы бросить, и навсегда.

Как-то ночью припадок - как кваканье изнутри - судороги и красная рвота изо рта, диарейные воды текут - на четвереньках у унитаза - моча сбегает меж ног - блюет на плитки пола, испачканные фекалиями - безостановочно -

Сорокалетняя, варикозная, голая, толстая, обреченная, за дверь у лифта кричит Полицию, зовет Розу, подругу на помощь -

Как-то закрылась на ключ с бритвой, иод - кашель, слезы у раковины - Луис взламывает стеклянную дверь, зеленую - тащит в спальню.

Тихие месяцы тою зимой - прогулки, ходит одна у Бродвея, Дейли Уоркер читает - руку сломала на льду -

Придумывает ходы, как обойти заговор космо-убийств, финансовых и бежит в Бронкс к Эланор, сестре. И еще сага о поздней Наоми в Нью-Йорке.

От Эланор, или Союза Рабочих⁸, от текучки, существования - идет в магазин за томатным супом Кемпбелл - пересчитывает деньги от Луиса -

Друг появляется, врач - д-р Айзек, Национальный Союз Моряков - а в общем-то он Итальянская старая, лысая кукла и толстая - сирота - его выставляют везде - жестоко

Неряха, садится она на стул, на кровать, в корсете и бредит - "Я горяча - Я толста - У меня прелестная талия до больницы - была - Ты бы видел меня в Вутбайне - это в мебелирашке в НМУ-холле, 1943

Листает фотооткрытки голых детишек в журнале - рекламы детских присыпок, сверхъестественных рыжих морковок - "Я думаю лишь о хорошем".

Revolving her head round and round on her neck at window light in summertime, in hypnotize, in doven-dream recall—

'I touch his cheek, I touch his cheek, he touches my lips with his hand, I think beautiful thoughts, the baby has a beautiful hand.'—

Or a No-shake of her body, disgust—some thought of Buchenwald—some insulin passes thru her head—a grimace nerve shudder at Involuntary (as shudder when I piss)—bad chemical in her cortex—'No don't think of that. He's a rat.'

Naomi: 'And when we die we become an onion, a cabbage, a carrot, or a squash, a vegetable.' I come downtown from Columbia and agree. She reads the Bible, thinks beautiful thoughts all day.

'Yesterday I saw God. What did he look like? Well, in the afternoon I climbed up a ladder—he has a cheap cabin in the country, like Monroe, N.Y. the chicken farms in the wood. He was a lonely old man with a white beard.

'I cooked supper for him. I made him a nice supper—lentil soup, vegetables, bread & butter—miltz—he sat down at the table and ate, he was sad.

'I told him, Look at all those fightings and killings down there, What's the matter? Why don't you put a stop to it?

'I try, he said—That's all he could do, he looked tired. He's a bachelor so long, and he likes lentil soup.'

Serving me meanwhile, a plate of cold fish—chopped raw cabbage dript with tapwater—smelly tomatoes—week-old health food—grated beets & carrots with leaky juice, warm—more and more disconsolate for I—I can't eat it for nausea sometimes—the Charity of her hands stinking with Manhattan, madness, desire to please me, cold undercooked fish—pale red near the bones. Her smells—and oft naked in the room, so that I stare ahead, or turn a book ignoring her.

One time I thought she was trying to make me come lay her—flirting to herself at sink—lay back on huge bed that filled most of the room, dress up round her hips, big slash of hair, scars of operations, pancreas, belly wounds, abortions, appendix, stitching of incisions pulling down in the fat like hideous thick zippers—ragged long lips between her legs—What, even, smell of asshole? I was cold—later revolted a little, not much—seemed perhaps a good idea to try—know the Monster of the Beginning Womb—Perhaps—that way. Would she care? She needs a lover.

Yisborach, v'yistabach, v'yispoar, v'yisroman, v'yisnaseh, v'yishador, v'yishalleh, v'yishallol, sh'meh d'kudsho, b'rich hu.

And Louis reestablishing himself in Paterson grimy apartment in negro district—living in dark rooms—but found himself a girl he later married, falling in love again—tho sere & shy—hurt with 20 years Naomi's mad idealism.

Крутя головою на свет, туда и сюда, в окошко и в лето, в гипнозе, в воспоминаниях о снах голубиных -

"Я глажу щеку, я глажу его щеку, он трогает губы рукою, мои, я думаю о красивом, у ребенка чудесная ручка" -

Или недвижимое тело, отврат - думает о Бухенвальде - инсулин ударяет в башку - дрожит физиономия - (похоже на дрожь, когда я мочусь) - вредные химикаты в коре головного мозга - "Но не думай о нем. Он - крыса".

Наоми: "После смерти мы превращаемся в лук, капусту, морковь и тыкву, и в овощи". Я из Колумбии, и согласен с ней. Она читает Библию, очень приятно.

"Я видела Бога вчера. Как он? Хорош, днём я залезла на лестницу - у Него на окраине дешевенький домик, в Монро, Нью-Йоркские птицефермы в лесу. Он одинокий старик с белой бородкой.

Я ужин сварила ему. Я ужин отличный сготовила - суп чечевичный, овощи, хлеб с маслом - рыба икра - Он сел и ел, Он печальный.

Я сказала: посмотри на вражду и убийц здесь, внизу. В чем тут дело? почему ты не остановишь?

Я стараюсь, сказал он - вот и все, что он мог, он устал. Он бакалавр... едок чечевичной похлебки".

Давая тарелку холодной рыбы - режет сырую капусту, спрыскивает из-под крана - вонючие помидоры - недельной давности из шоопа "Здоровая пища" - тертая свекла, морковь, соус, тягучий - такую тоску наводящий обед - не естся, тошнит - Подаянье из рук, из которых воняет Манхеттен, безумье, угодливость и холодок недоваренной рыбы - бледнорозовой у костей. Запах Наоми - частенько она обнаженная дома, смотрю перед собой, делаю вид, что листаю книжку, не глядя на мать.

Как-то мне показалось, она не прочь и переспать со мною - кокетничает у раковины - идет и легла на кровать, загромождающую всю комнату, задрала подол, бедра, большой куст волос, шрамы от операций, панкреатит, вздутый, аппендицит, проколы от швов, следы от разрезов, в жире, как широкие "молнии", длинно-рваные губы меж ног - и даже запах анальный? Я холодею - вроде б сопротивлялся слегка - недурная идея испытать - знаете - Монстр Возбужденной Матки, может быть, это и путь. Ей все равно. Ей нужен любовник.

Исборач, в'иистабач, в'испоар, в'изроман, в'ииснасекс, в'иишадор, в'ишалех, в'ишаллал, ш'мех, ш'кудшо, б'рич ху⁹.

И Луис, обживающий мрачную комнату в негритянском квартале, Патерсон - с девочкой, женится даже на ней, во второй раз влюбленный, вялый и робкий - все ж 20 лет идеализировавший Наоми.

Once I came home, after longtime in N.Y., he's lonely—sitting in the bedroom, he at desk chair turned round to face me—weeps, tears in red eyes under his glasses—

That we'd left him—Gene gone strangely into army—she out on her own in N.Y., almost childish in her furnished room. So Louis walked downtown to postoffice to get mail, taught in highschool—stayed at poetry desk, forlorn—ate grief at Bickford's all these years—are gone.

Eugene got out of the Army, came home changed and lone—cut off his nose in jewish operation—for years stopped girls on Broadway for cups of coffee to get laid—Went to NYU, serious there, to finish Law.—

And Gene lived with her, ate naked fishcakes, cheap, while she got crazier—He got thin, or felt helpless, Naomi striking 1920 poses at the moon, half-naked in the next bed.

bit his nails and studied—was the weird nurse-son—Next year he moved to a room near Columbia—though she wanted to live with her children—

'Listen to your mother's plea, I beg you'—Louis still sending her checks—I was in bughouse that year 8 months—my own visions unmentioned in this here Lament—

But then went half mad—Hitler in her room, she saw his mustache in the sink—afraid of Dr. Isaac now, suspecting that he was in on the Newark plot—went up to Bronx to live near Elanor's Rheumatic Heart—

And Uncle Max never got up before noon, tho Naomi at 6 a.m. was listening to the radio for spies—or searching the windowsill,

for in the empty lot downstairs, an old man creeps with his bag stuffing packages of garbage in his hanging black overcoat.

Max's sister Edie works—17 years bookkeeper at Gimbels—lived downstairs in apartment house, divorced—so Edie took in Naomi on Rochambeau Ave—

Woodlawn Cemetery across the street, vast dale of graves where Poe once—Last stop on Bronx subway—lots of communists in that area.

Who enrolled for painting classes at night in Bronx Adult High School—walked alone under Van Cortlandt Elevated line to class—paints Naomiisms—

Humans sitting on the grass in some Camp No-Worry summers yore—saints with droopy faces and long-ill-fitting pants, from hospital—

Brides in front of Lower East Side with short grooms—lost El trains running over the Babylonian apartment rooftops in the Bronx—

Sad paintings—but she expressed herself. Her mandolin gone, all strings broke in her head, she tried. Toward Beauty? or some old life Message?

Как-то я задержался в Нью-Йорке, приезжаю, он в спальне, один у стола, сидит, повернулся на стуле ко мне - плачет, слезы в красных глазах, под очками -

Что ж, он оставлен - Джен его в армии, странно - она ускользнула в Нью-Йорк, в ее мебелировке почти как в детской. Луис же ходит на почту за тем, что пришло, учительствует - коротает часы за столом, поэтическим, брошенный - горя хлебнувший в Бикфорде, да все эти годы - прошли.

Юджин вернулся из Армии, переменялся - обрезанный нос - еврейская операция - год за годом - он останавливал дев на Бродвее, на чашку кофе с постелью - и вот он в Нью-Йоркском Университете - очень серьезно, кончает Право -

Жил с ней и Юджин, питался рыбной котлетой, склеенной, этой дешевой, а она становилась безумней - он похудел, и беспомощный, паразительны позы Наоми 1920, при луне, полуодетой, в соседней кровати.

Ногти кусает и учится - сын фантастический и сиделка - в новом году перебрался в комнату у Колумбии - она-то хотела жизни с детьми, со своими - "Слушай, пожалуйста, молится мать" - Луис посылает ей чеки - я в том году 8 месяцев маюсь, клоповник - о впечатленьях ни слова - здесь Плач -

Потом она стала полусумасшедшей - Гитлер в дому, видит усы его в раковине - боится д-ра Айзека, есть подозренья, и он - член Нью-Йоркского заговора - едет в Бронкс, ближе к сердцу Эланор, к ее Ревматизму -

Дядя Макс никогда не вставал раньше полудня, Наоми в 6 поутру уже слушает радио - чтобы знать, как бороться со шпионажем - или обследует подоконник, ведь внизу, во дворе, в пустоте кто-то крадется, старец в обвислом и черном пальто, полон мешок на спине - пакетами мусора.

Макса сестра, Эди хлопочет - 17 лет библиотекаришей в Гимбл - внизу, в том же многоквартирном доме, разведенная - в общем Эди берет Наоми в Росамбу Айв -

Лесная поляна, Кладбище среди улиц, целая площадь могил, здесь и По побывал - конечная станция сабвей у Бронкса - множатся коммунисты в том регионе.

Кто надумал набор в класс рисования Вечерней Средней Школы для Взрослых в Ванкортланд - едет одна - рисует она Наомизмы -

Люди на травке в Лагере "Нет проблем" во время оно - святые и постолицы в больничных штанах для долголежащих -

Семейные пары и их женихи, карликовые у Лоуэр Ист Сайд - затерянные поезда Надземной ж.д. мчатся над крышами Вавилонских жилищ в Бронксе -

Грустные темы - ее самовыражений. Ушла мандолина, сплыла, струны

But started kicking Elanor, and Elanor had heart trouble—came upstairs and asked her about Spydrom for hours,—Elanor frazzled. Max away at office, accounting for cigar stores till at night.

'I am a great woman—am truly a beautiful soul—and because of that they (Hitler, Grandma, Hearst, the Capitalists, Franco, Daily News, the '20s, Mussolini, the living dead) want to shut me up—Buba's the head of a spider network—'

Kicking the girls, Edie & Elanor—Woke Edie at midnite to tell her she was a spy and Elanor a rat. Edie worked all day and couldn't take it—She was organizing the union.—And Elanor began dying, upstairs in bed.

The relatives call me up, she's getting worse—I was the only one left—Went on the subway with Eugene to see her, ate stale fish—

'My sister whispers in the radio—Louis must be in the apartment—his mother tells him what to say—LIARS!—I cooked for my two children—I played the mandolin—'

Last night the nightingale woke me / Last night when all was still / it sang in the golden moonlight / from on the wintry hill. She did.

I pushed her against the door and shouted 'DON'T KICK ELANOR!'—she stared at me—Contempt—die—disbelief her sons are so naive, so dumb—'Elanor is the worst spy! She's taking orders!'

'—No wires in the room!'—I'm yelling at her—last ditch, Eugene listening on the bed—what can he do to escape that fatal Mama—'You've been away from Louis years already—Grandma's too old to walk—'

We're all alive at once then—even me & Gene & Naomi in one mythological Cousinesque room—screaming at each other in the Forever—I in Columbia jacket, she half undressed.

I banging against her head which saw Radios, Sticks, Hitlers—the gamtt of Hallucinations—for real—her own universe—no road that goes elsewhere—to my own—No America, not even a world—

That you go as all men, as Van Gogh, as mad Hannah, all the same—to the last doom—Thunder, Spirits, Lightning!

I've seen your grave! O strange Naomi! My own—cracked grave! Shema Y'Israel—I am Svul Avrum—you—in death?

Your last night in the darkness of the Bronx—I phoned—thru hospital to secret police

that came, when you and I were alone, shrieking at Elanor in my ear—who breathed hard in her own bed, got thin—

Nor will forget, the doorknock, at your fright of spies,—Law advancing, on my honor—Eternity entering the room—you running to the bathroom undressed, hiding in protest from the last heroic fate—

все рвутся в ее голове, пробует, что ли, себя. В Красоте? или в Письменах из какой-то прошедшей жизни?

Но пинает Эланор, а у Эланор сердце - встает и говорит о Шпионах, часами - Эланор уже измочалена. В офисе Макс, проверяет счета по сигаретным ларькам, допоздна.

"Я великая женщина - я прекрасна душой - потому-то они (Гитлер, Бабушка, Лань, Капиталисты, Франко, Дейли Ньюс, Муссолини 20-х, живомертвец) возомнили, чтоб я заткнулась. Буба - резидент"¹⁰ -

Пинает девчонок, Эди, Эланор - будит Эди в ночи и говорит, ты шпионка, а Эланор крыса. Эди работает днем, ей ни к чему все это - Она формирует союз. - А Эланор наверху уже умирает в кровати.

Родня вызывает меня, ей хуже, я - последний, оставшийся. Едем с Юджином в метро, едим тухлую рыбу -

"По радио шепчет сестра - Луис обязательно дома - мать подсказывает, что сказать - ЛЖЕЦЫ! - я стряпаю детям моим, двоим - я играю на мандолине" -

В ту ночь соловей будит меня / В ту ночь была тишина / Поет в золотистом свете луны / С вершины зимней горы / Она пишет.

Я к двери, толкнул и кричу "НЕ СМЕЙ БИТЬ ЭЛАНОР" - устала на меня - Презирающая - хоть умри - не верит, что ее сыновья так наивны, тупицы - "Эланор - шпик из шпиков! Она исполком ордеров на арест!"

Никаких провожаний!" - я ору на нее - из последних сил. Юджин слушает с кровати, не улизнуть от этой фатальной Мама - "Ты годы живешь без Луиса - Бабушка тоже ногами дряхла" -

Мы все были живы - я и Джен, и Наоми в одной мифологической квартире - кричим Бесперывно - я в Колумбийской куртке, она полураздета.

Я стучал по башке, в которой видеоряд Радиограмм, Палок, Гитлеров, Галлюцинаций - под реальность - под собственную вселенную - и ни одной тропинки ни к кому - лишь к себе - ни Америки, ни даже Мира -

Здесь ты по случаю, но как все, как Ван Гог, как помешанный Ганнах, как всем - суд последний - Гром, Духовность и Молния!

Я видел могилу твою! О Странная Наоми! Это ж и моя - треснутая могила! Шема, У! Израиль¹¹ - я есть Свул Аврум¹² - ты - мертва?

И последняя ночь из тьмы Бронкса - я звоню - из больницы - в секретную полицию

и приезжают, и мы одни, орешь в мое ухо о Эланор, а та еле дышит в постели, осунулась

Не забыть, как били в дверь, при твоём-то страхе шпионов - честное слово, явился Закон - вечность ступает в комнату - и ты, бегущая в ванную, голая, протестуя - и последний твой героический фатум.

staring at my eyes, betrayed—the final cops of madness rescuing me
—from your foot against the broken heart of Elanor,
your voice at Edie weary of Gimbels coming home to broken radio
—and Louis needing a poor divorce, he wants to get married soon—Eugene
dreaming, hiding at 125 St., suing negroes for money on crud furniture,
defending black girls—

Protests from the bathroom—Said you were sane—dressing in a cot-
ton robe, your shoes, then new, your purse and newspaper clippings—no—
your honesty—

as you vainly made your lips more real with lipstick, looking in the
mirror to see if the Insanity was Me or a careful of police.

or Grandma spying at 78—Your vision—Her climbing over the walls
of the cemetery with political kidnapper's bag—or what you saw on the walls
of the Bronx, in pink nightgown at midnight, staring out the window on the
empty lot—

Ah Rochambeau Ave.—Playground of Phantoms—last apartment in
the Bronx for spies—last home for Elanor or Naomi, here these communist
sisters lost their revolution—

'All right—put on your coat Mrs.—let's go—We have the wagon
downstairs—you want to come with her to the station?'

The ride then—held Naomi's hand, and held her head to my breast,
I'm taller—kissed her and said I did it for the best—Elanor sick—and Max
with heart condition—Needs—

To me—'Why did you do this?'—'Yes Mrs., your son will have to
leave you in an hour'—The Ambulance

came in a few hours—drove off at 4 A.M. to some Bellevue in the night
downtown—gone to the hospital forever. I saw her led away—she waved,
tears in her eyes.

Two years, after a trip to Mexico—bleak in the flat plain near Brent-
wood, scrub brush and grass around the unused RR train track to the
crazyhouse—

new brick 20 story central building—lost on the vast lawns of mad-
town on Long Island—huge cities of the moon.

Asylum spreads out giant wings above the path to a minute black hole
—the door—entrance thru crotch—

I went in—smelt funny—the halls again—up elevator—to a glass
door on a Women's Ward—to Naomi—Two nurses buxom white—They
led her out, Naomi stared—and I gaspt—She'd had a stroke—

Too thin, shrunk on her bones—age come to Naomi—now broken
into white hair—loose dress on her skeleton—face sunk, old! withered—
cheek of crone—

преданно смотришь мне в очи и неподвижно, последние вспышки без-
умья спасают меня - от пинка, от ноги, убившей сердце Эланор

речь твоя к Эди, уставшей от Гимбелса, вернулась домой к разбитому
радио - и Луис, пустой, ему нужен развод, хочет жениться еще - Юджин,
спящий в норе на 125-й Стрит, составляет иск неграм за дрянной фурнитур
адвокат темнокожих девиц -

Протестуя из ванной - Наоми кричит, что в своем уме - халат из ХБ,
туфли, новые, сумочка при себе и вырезки из газет - ты, правдоискательница -
сделать бы губы живыми помадой, никак, видеть бы в зеркало, кто тут
сумасшедший - я, или целый фургон полицейских.

или шпионка-Бабушка в 78 - ты видишь - скребется в стенку кладбища
с мешком политвоера - и что же еще видела ты на стенах Бронкса, в розовой
сорочке, ночной, глядя в окно, во двор, где нет никого -

Ах, Рочамбу Эйв - Плей-место фантомов - штаб шпионажа в Бронксе
последний дом Эланор с Наоми, где эти коммунистические сестры убили
свою революцию -

"Отлично - Ваше пальто, Мистрисс - пройдемте - у нас полицейский
фургон, внизу - хотите на станцию?"

Едем - держу руку Наоми, голову прижимая к груди, я выше событий -
целую ее, говорю, так лучше - Эланор больна - Макс сердечник - Безнадюга -

И себе - "Почему ты так поступил?" - "Да, Мистрисс, ваш сын покинет
вас через час" - Скорая помощь

через энность часов - едем в 4 утра в какой-то ночной центр, в Белле-
ву - уходит в больницу, уже навсегда. Я вижу, уводят - качается, слезы в
глазах.

Два года спустя, после Мексики - унылы равнины - Brentвуда, щетки
кустарника и трава у заброшенных ж.д. путей у сумасшедшего дома -

новый дом, кирпичный, центральный, 20-ти этажный - кем-то забытый
на полоумных лужайках Лонг-Исланд - огромных лун городских.

У дома гигантские крылья над тропкой в маленький черный туннель -
к двери - вход в промежность -

Я вхожу - пахнет смешно - и вновь залы - вверх лифт - к застекленным
дверям женского отделения - к Наоми - две здоровенных сестры в белом -
выводят ее, Наоми, сощурившись, смотрит - я задыхаюсь - у нее был удар -

Исхудалая, кожа да кости - вот и старость, Наоми - совсем поседела -
платье болтается на скелете - это лицо, впадины, вялое - щеки старухи -

One hand stiff—heaviness of forties & menopause reduced by one heart stroke, lame now—wrinkles—a scar on her head, the lobotomy—ruin, the hand dipping downwards to death—

O Russian faced, woman on the grass, your long black hair is crowned with flowers, the mandolin is on your knees—

Communist beauty, sit here married in the summer among daisies, promised happiness at hand—

holy mother, now you smile on your love, your world is born anew, children run naked in the field spotted with dandelions,

they eat in the plum tree grove at the end of the meadow and find a cabin where a white-haired negro teaches the mystery of his rainbarrel—

blessed daughter come to America, I long to hear your voice again, remembering your mother's music, in the Song of the Natural Front—

O glorious muse that bore me from the womb, gave suck first mystic life & taught me talk and music, from whose pained head I first took Vision—

Tortured and beaten in the skull—What mad hallucinations of the damned that drive me out of my own skull to seek Eternity till I find Peace for Thee, O Poetry—and for all humankind call on the Origin

Death which is the mother of the universe!—Now wear your nakedness forever, white flowers in your hair, your marriage sealed behind the sky—no revolution might destroy that maidenhood—

O beautiful Garbo of my Karma—all photographs from 1920 in Camp Nicht-Gedeiget here unchanged—with all the teachers from Newark—Nor Elanor be gone, nor Max await his specter—nor Louis retire from this High School—

Back! You! Naomi! Skull on you! Gaunt immortality and revolution come—small broken woman—the ashen indoor eyes of hospitals, ward grayness on skin—

'Are you a spy?' I sat at the sour table, eyes filling with tears—'Who are you? Did Louis send you?—The wires—'

in her hair, as she beat on her head—'I'm not a bad girl—don't murder me!—I hear the ceiling—I raised two children—'

Two years since I'd been there—I started to cry—She stared—nurse broke up the meeting a moment—I went into the bathroom to hide, against the toilet white walls

'The Horror' I weeping—to see her again—'The Horror'—as if she were dead thru funeral rot in—'The Horror!'

Рука отнялась - тяготы сорока, климакс, еще и инфаркт, новость - прихрамывает - лоботомия - рука, разбитая, опускается, это к смерти -

O с Русским лицом женщина, на траве, длинноволосая, в нимбе цветов, мандолина, колени -

O красота, коммунистическая, здесь сидит замужем, летом, среди маргариток, обещанный рай в руках -

мама святая, смеющаяся от любви, новый мир уж построен, и свой, дети топают по полю, голопупые и в одуванчиках,

это они в сливовой роще на горизонте луга, вот и дом, и в нем - белоголовый негр рассказывает секреты своей дождевой бочки -

благословенная дочь, открывшая эту Америку, как мне услышать твой голос, музыку твоей матери, Интернационал -

O славься муза, рожденный из чрева, я всосал твои первые капли загадочной жизни и ты научила меня языку и музыке, из твоей головы унаследованные - Миражи -

Пытаемый, мучимый собственным мозгом - какие галлюцинации и проклятья заставят выискивать Вечность вне моей черепной коробки, но я нашел МИР Тебе, о Поэзия - и всех зову к Истоку

Смерть, универсальная мать! - Носи свою наготу, белый цветок в волосах, брак в небесах - ни одна революция не разрушит твое целомудрие -

O прелесть Гарбо моей Кармы - все фотографии 1920 в Кемп Нитч-Джедайгет здесь, неизменны - со всеми учителями Ньюарка - и Эланор здесь, и Макс не ждет неожиданностей - и Луис не на пенсии, а в Средней школе -

Обратно! Ты! Наоми! Ко мне! Сухость бессмертия и революции, пришлое - маленькая, надломленная мама - закрыты больницы, пепельноглазы, серая кожа, больная -

"Ты шпион?" - сел к столу, омерзительному, глаза в слезах - "Кто ты? Луис подослал?" - Провода

в ее волосах, стучит себя по затылку - "Я хорошая девочка, не убивайте меня! - Я подняла двух детей" -

Два года спустя - я кричу - она вперилась пристально - входит сестра и прерывает, момент - я прячусь в ванную, белые туалетные стены

"Ужас" рыдаю - вновь видеть ее - "Ужас" - как если б она умерла, гниль могил - "Ужас!"

I came back she yelled more—they led her away—'You're not Allen—' I watched her face—but she passed by me, not looking—

Opened the door to the ward,—she went thru without a glance back, quiet suddenly—I stared out—she looked old—the verge of the grave—'All the Horror!'

Another year, I left N.Y.—on West Coast in Berkeley cottage dreamed of her soul—that, thru life, in what form it stood in that body, ashen or manic, gone beyond joy—

near-its death—with eyes—was my own love in its form, the Naomi, my mother on earth still—sent her long letter—& wrote hymns to the mad—Work of the merciful Lord of Poetry.

that causes the broken grass to be green, or the rock to break in grass—or the Sun to be constant to earth—Sun of all sunflowers and days on bright iron bridges—what shines on old hospitals—as on my yard—

Returning from San Francisco one night, Orlovsky in my room—Whalen in his peaceful chair—a telegram from Gene, Naomi dead—

Outside I bent my head to the ground under the bushes near the garage—knew she was better—

at last—not left to look on Earth alone—2 years of solitude—no one, at age nearing 60—old woman of skulls—once long-tressed Naomi of Bible—

or Ruth who wept in America—Rebecca aged in Newark—David remembering his Harp, now lawyer at Yale

or Svul Avrum—Israel Abraham—myself—to sing in the wilderness toward God—C Elohim!—so to the end—2 days after her death I got her letter—

Strange Prophecies anew! She wrote—"The key is in the window, the key is in the sunlight at the window—I have the key—Get married Allen don't take drugs—the key is in the bars, in the sunlight in the window.

Love,

your mother'

which is Naomi—

Я возвращаюсь и вижу кричащей, сильней - уведят - "Ты не Аллен" - смотрю ей в лицо, но она проходит, не видя -

Дверь открывают в палату - вошла, не обернулась, вдруг стихшая - я смотрю - это старуха - у края могилы - "Все ужас!"

В следующем году я уехал из Н.Й. на Западный Берег, в Беркли, в коттедже, я думаю - как же всю жизнь, в какой форме душа ее в теле, пепел и помешательство, радостей нет -

бок о бок со смертью - с глазами моей формы, единственная Наоми, мать моя еще на земле - и шлю ей письмо, длиннейшее - гимн сумасшествию - Труд милосердного Бога Поэзии.

это заставит траву зеленеть, ослабевшую, а скалу распуститься травой - а Солнце быть всегда на земле - Солнце подсолнухов, всех, и дней на железных мостах, сверкающих - и свет тот над всеми больницами - как у меня на дворе -

Как-то вернусь из Сан-Франциско, вечер, Орловский, убит, в мирном кресле - от Джен телеграмма, Наоми мертва -

Голову опускаю, земля, на улице, под кустами у гаража - что ж, так лучше - чем под присмотром - до конца - на Землю не глянуть - и никого, ни из близких, за 60-т - старая, смертная женщина - с заплетенными косами Наоми, Библейская -

или Руфь, рыдающая в Америке - Ребекка, стареющая в Ньюарке - Давид, вспоминающий Лиру свою, сейчас он юрист в Йеле

или Свул Аврум - Израэль Абрахам - мисельф - поющий в пустыне о Боге - О ЭЛОИМ! - так до конца - 2 дня спустя после смерти я получаю письмо, от нее -

Странное Провидение вновь! Пишет она - "Ключ в окне, ключ - в солнечном свете окна - ключ у меня - Женись, Аллен, не принимай наркотики - ключ - в солнечных полосах, в окне.

Люблю,

Твоя мать"

она же Наоми -

Комментарии

1. Первые помидоры Америки (яд!): некоторые русские, иммигрировавшие в Америку в начале века, никогда не ели помидоров и думали, что они ядовиты.
2. Граф Цешелин: имеется в виду гигантский, заполненный водородом немецкий дирижабль "Гинденбург", погибший в огне с 36 жертвами во время припвартовки в Дейкхерсте, Нью-Джерси, 6 мая 1937г., после совершения первого трансатлантического перелета.
3. Зеленый стол: классика немецкой труппы Джусс Балет 1930-х годов, где капиталисты, разжигатели войны, в черных галстуках и фраках танцуют вокруг длинного зеленого стола на дисконференции, изображая мобилизацию, битвы, получение доходов от продажи оружия, судьбу беженцев и дивизию мародеров с фигурой смерти на переднем плане, танцующей в продолжение всех 8 сцен притчи о 1-й Мировой войне.
4. Юджин Виктор Дебс (1855-1926) - организатор союза железнодорожников, основатель союза "Индустриальные рабочие мира", а также "Одного большого союза", кандидат от социалистов на президентских выборах 1900-1920гг. совершил побег из тюрьмы в Атланте, где содержался после получения 10-летнего срока за т.наз. "шпионский акт" - речь, обличающую США за вступление в 1-ю мировую войну; в 1920г. получил почти 1 млн. голосов.
5. Джон П.Альтгелдт (1847-1902) - первый правитель-демократ Иллинойса со времен Гражданской войны. Помилывал группу анархистов, осужденных за Хеймаркетские мятежи 1886г., выступил инициатором тюремной реформы, защищал рабочих женщин и изменил законы о детском труде, выступил против использования наемных войск для подавления забастовок железнодорожников, богатым вступил в должность губернатора, неподкупен, оставил ее, не имея ни пенса.
6. Маленькие Голубые книги - крошечные буклеты, первые американские массовые издания в голубых и мягких обложках, "инакомыслящие", их распространял социалистический иммигрантский город Жирард, юго-восток Канзаса. Их продавал Е.Хаудман-Джулиус (1889-1951), просветитель масс, предлагая лучшую литературу по самым низким ценам, включая всего Шекспира, многое из Оскара Уайльда, Томаса Пэна, Кларенса Дарроу, Эптона Синклера, оратора-агностика Роберта Ингерсолла и Марка Твена. За издания "ФБР - основа американского полицейского государства" и "Тревожные методы Дж.Эдгара Гувера", написанные Клифтоном Беннетом в 1948г., Халдермен-Джулиус преследовался ФБР. Был из'ят "Черный Интернационал" Джозефа Мак Кейба, 20-ти памфлетная серия, разоблачающая связь Римской Католической Церкви и фашистского руководства.
7. Метразол - обычно использовался вместе с инсулином для шокотерапии, сейчас не используется.
8. Союз Рабочих - еврейская иммигрантская социалистическая организация по коммунальному обслуживанию района Ньюарка.
9. Изборах...Б'рич ху" - главная часть Кадиша - молитвы о мертвых.
10. Буба (идиш) - бабушка.
11. Шема, Израиль! (иврит) - слушай, Израиль!
12. Сул Аврум (иврит), Израиль Абрахам - эквивалент Ирвина Аллена, имен в свидетельстве о рождении автора.

Гинзберг Аллен

Каддиш: Поэма / Пер. с англ. В. Сосноры — СПб.:
1993.— 42 с.

ISBN 5-7282-0017-6

Приложение к альманаху «Петрополь». Главный редактор
альманаха «Петрополь» Николай Якимчук.

Издание подготовили:

И. Рийк
А. Макарычева
Т. Волковыская
А. Ульянов

© Аллен Гинзберг, 1956, 1993

© Виктор Соснора, 1993

